

Марк Соколянский

Типология мирового литературного развития в новейший период : к постановке проблемы

Studia Rossica Posnaniensia 25, 107-114

1993

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

ТИПОЛОГИЯ МИРОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО РАЗВИТИЯ В НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

TYPOLOGY OF THE NEWEST LITERARY HISTORY (AN APPROACH TO THE PROBLEM)

МАРК СОКОЛЯНСКИЙ

ABSTRACT. The article deals with the problem of typological relations between Russian and Western literatures after 1945 until the present. Themes, problems and poetics of different works by Russian, West-European and American writers are defined and illustrated in brief. The whole article is directed against the attempts to represent the newest literature of the USSR as an isolated one from world literature.

Марк Соколянский, Одесский государственный университет, ул. Петра Великого 2, Одесса, Украина.

„...Национальная литература сейчас мало что значит, на очереди эпоха всемирной литературы, и каждый должен содействовать скорейшему ее наступлению”, – заметил в 1827 г. Гете¹, и с тех пор понятие „всемирная литература” вошло в широкий литературный обиход. Между тем в своем ближайшем опыте мы встречаем немало случаев отступления от Гетевской концепции целостности мирового литературного процесса.

Так, в советском литературоведении последних десятилетий единство литературного развития если и осознается, то до определенного временного рубежа, а именно – до 1917 г. В развитии литератур 18-19 вв. закономерности, как будто, общие: русский классицизм соотнесен с западноевропейским, как и сентиментализм, и романтизм, и реализм XIX в., и вдруг по достижении известной границы все связи разрываются. Советская литература начинает развиваться – в представлении ее официозных историков – по каким-то особым законам. Исключения

¹ И. П. Эккерман, *Разговоры с Гете в последние годы его жизни*, Москва 1981, с. 219.

делались лишь для леворадикальной литературы Запада², хотя и художники левоавангардистского толка (Брехт, Пикассо, Шон О'Кейси), по верному замечанию М. Фридберга, расхваливались ради некоего ритуала, но по-настоящему не принимались³.

Главенствующей оставалась тенденция на игнорирование межнациональных литературных связей за пределами советской империи. Как ни удивительно, но эта тенденция оказалась очень живучей и уже в период т.н. перестройки не раз заявляла о себе⁴.

Окостеневшая изоляционистская концепция истории советской литературы не выдерживает проверки фактами. Ведь уже ранняя пора ее развития дает материал для размышлений как над генетическими связями, так и над типологическими схождениями между советской литературой и культурой Запада. Очевидна, к примеру, преемственная связь между романом-памфлетом Е. Замятина *Мы* и антиутопиями О. Хаксли и Дж. Оруэлла; заметим, что и Замятин-антиутопист основательно связан с традицией английской сатирической утопии. Писатели-обэриуты (Хармс, Введенский) во многом опередили и предвосхитили европейскую литературу абсурда. С некоторой задержкой, но проявились в советской литературе следы воздействия прозы Джойса и Пруста. Впрочем, ряд примеров подобного воздействия можно продолжать и продолжать. Однако для постановки вопроса ограничимся новейшим историко-культурным периодом, датировка которого начинается с конца второй мировой войны.

В начале этого периода попытки наглухо отгородиться от западной литературы достигли в нашей критике поразительных успехов. Этому способствовала сама обстановка „холодной войны“. Характерными проявлениями этой атмосферы были такие кампании, как „маккартизм“ США („мерзкое время“, по определению Л. Хеллман⁵) или черносотенная по сути борьба с „безродными космополитами“ в СССР. Начатое в первые послевоенные годы „отгораживание“ выросло в стойкую традицию.

Справедливости ради скажем, что охота на чужеродных ведьм активно велась поначалу по обе стороны железного занавеса. Разумеется,

² См., напр.: Г. А. Белая, Н. С. Павлова, *Диалектика сознательного и подсознательного в концепциях человека (из опыта советской и немецкой литератур)*. В: Советская литература и мировой литературный процесс, Москва 1975, с. 106-165.

³ M. Friedberg, *A Decade of Euphoria. Western Literature in Post-Stalin Russia, 1954-1964*, London 1977, с. 327.

⁴ См.: Ю. Андреев, *Главное звено*, Москва 1986, с. 72-109; Л. Ершов, И. Кузьмичев, *Волиевный кристалл. Социалистический реализм сегодня и завтра*, Москва 1987, с. 198; Н. С. Тендитник, *Энергия писательского сердца*, Иркутск 1988, с. 240; *Положительный герой в современной советской литературе*, Москва 1988.

⁵ L. Hellman, *Scoundrel Time*, London 1976.

сегодня никто не сомневается в анахроничности той полемики с американскими советологами, которую истоиво вел на закате „застойного времени” А. Беляев в своей книге *Идеологическая борьба и литература*. Но есть, как это ни странно, одна общая черта в очень разных трудах Беляева и его западных оппонентов: никто из них не замечает контактных и типологических связей между литературами Запада и Востока на новом историческом витке. Как писал М. Кундера, „к русскому железному занавесу добавился занавес западного непонимания”⁶.

Под изоляционистским подходом лежит схематично понимаемый принцип классовости искусства. Период „холодной войны” узаконил вульгарно-социологическую интерпретацию этого принципа, разделив непроницаемой перегородкой не только советскую и западную (сиречь, буржуазную) литературы, но и русскую литературу внутри страны и творчество русской эмиграции. Даже в последние годы, когда уже был декларирован приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми или национальными, инерция упомянутого подхода дает себя знать.

Например, из „Введения” к коллективному труду *Положительный герой в современной советской литературе*, вышедшем на четвертом году перестройки, узнаем о „подлинных, а не надуманных положительных героях” (от Чапаева и Кожуха до персонажей Ф. Маркова), о том, что они „активно противостоят «антигероям» современного буржуазного искусства, антигуманного, бесчеловечного и жестокого по своей сути...”⁷. Тяготение к изоляционистским построениям проявляют подчас и оригинально мыслящие теоретики, явно далекие от примитивного толкования классовости искусства. В таком случае, правда, известная концепция бывает основательно закодированной. Например, таким образом:

„Природа каждой страны есть текст, исполнена смыслов, сокрытых в Матери-и. Народ=супруг Природины (Природы+Родины). В ходе труда за время истории он разгадывает зов и завет Природы и создает Культуру, которая есть чадородие их семейной жизни...”⁸.

Вчитываясь в эту словесную вязь, как будто слышишь вопрос шукшинского Глеба Капустина: „Как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?” В труде Г. Гачева нетрудно заметить за новыми методами рассуждения привычную тенденцию, устремленную исключительно на поиск „возлюбленной непохожести”⁹ в разных национальных культурах.

⁶ М. Kundera, *Frauge: Disappearing Form*, *Granta* 17, Autumn 1985, с. 104.

⁷ *Положительный герой в современной советской литературе*, ук. соч., с. 11.

⁸ Г. Гачев, *Национальные образы мира*, „Вопросы литературы” 1987, № 10, с. 156.

⁹ Там же, с. 191.

Отказ от приоритета узкоклассовых критериев в оценке литературного процесса позволяет пересмотреть устаревшую концепцию. Против закостенелых установок восстают факты и, в частности, факты новейшего периода всемирной литературы. Применительно к этому периоду вопрос о типологических связях оказался едва ли не более актуален, чем проблема контактных взаимодействий: общность целого ряда аспектов существования современного мира определила и общность художественного осмысления их.

Взять, к примеру, историю художественного отражения событий второй мировой войны в литературах разных народов. Война была общемировой трагедией, соответственно осмыслялась она в искусстве разных стран, причем процесс этот пережил, по крайней мере, две волны. Первая волна охватывает послевоенные восемь-десять лет. Можно выделить из массового потока советской литературы несколько книг, выдержавших испытание временем: *В окопах Сталинграда* В. Некрасова, *Василий Теркин* А. Твардовского, *Звезда и Двое в степи* Э. Казакевича, *Спутники* В. Пановой, *За правое дело* В. Гроссмана. В этих произведениях была предпринята серьезная попытка прорваться к постижению не только судеб государства и народа, а и судеб тех обычных и неповторимых людей, из которых этот народ состоит.

Аналогичные попытки (правда, на своем материале) делались и западногерманскими писателями из „Группы 47“, и французскими прозаиками и драматургами экзистенциалистской ориентации. На рубеже 1940-50-х гг. появляется ряд романов о второй мировой войне американских писателей И. Шоу, Дж. Херси, Н. Мейлера, Дж. Джонса, Д. Левина с характерной общей тенденцией: понять войну, так сказать, изнутри. Такое неоднородное явление, как „человек на войне“, становится главным объектом изображения и анализа.

Вторая волна в художественном осмыслении опыта второй мировой войны наблюдается позднее: в советской и немецкой литературах – с конца 50-х до начала 70-х, в американской и английской литературах – в 70-80-е гг. Генетическая связь между двумя волнами очевидна, но не подлежит сомнению и качественное различие.

В советской литературе „вторая война“ представлена т.н. „лейтенантской прозой“ Г. Бакланова, молодого Ю. Бондарева, В. Быкова, Б. Балтера, В. Богомолова, Б. Васильева и др. Отказ от изображения войны с птичьего полета, воспринимавшийся в книгах „первой волны“ как нарушение норм, стал общим постулатом, приведшим к углублению психологизма в изображении человека на войне, к неназойливой философичности и к продвижению по пути понимания истинных причин трагических потерь и великой победы. Аналогичные моменты заметны и в книгах, появившихся в 70-80-е гг.

в США, хотя в книгах Д. Джонса и Г. Вука, Э. Майрера и У. Стайрона нетрудно понять и закономерное желание понять войну в широком временном и географическом охвате, осмыслить судьбу героя во взаимосвязи разных ее этапов.

Интересные типологические параллели выстраиваются, когда всматриваешься в те явления в мировой литературе второй половины 1950-х – начала 1960-х гг., что напрямую связаны с избавлением от кризисных примет периода „холодной войны”. В советской литературе это первое послесталинское десятилетие, получившее наименование периода „оттепели”. При всей своей национально-исторической самобытности, этот период литературного развития имеет содержательные параллели в искусстве Запада.

В критике уже подчеркивалась особая роль т.н. молодежной литературы в активизации духовной жизни с середины 1950-х гг. В художественной прозе именно молодежная литература помогла вырваться из тисков некоторого стилистического однообразия, свойственного большинству книг, созданных в СССР после войны, и пробилась к широкому молодому читателю. Не все книги И. Гофф, А. Гладилина, М. Бреженера, В. Аксенова и других, написанные в период „оттепели”, пережили свое время, но существенную роль в изменении духовного климата они, несомненно, сыграли.

Дело, начатое молодыми прозаиками, писавшими о молодежи и ее проблемах, было подхвачено молодыми поэтами, пик популярности которых пришелся на рубеж 1950-60-х гг. Б. Ахмадулина и Е. Евтушенко, Р. Казакова и А. Вознесенский, Ю. Мориц и Р. Рождественский, И. Драч, В. Коротич и их ровесники – поэты не одинаковые ни по силе голоса, ни по прочности идейных устоев – вышли в те годы на эстраду, и их голосами заговорило недоверчивое и пытлиное поколение. Появился молодой, ищущий смысла жизни герой и на театральной сцене – в пьесах Виктора Розова и Александра Володина.

Аналогичные явления наблюдались тогда или чуть раньше и в литературах Запада. Так, оживление общего климата английской словесности в середине 1950-х гг. связано с вхождением в литературу „сердитых молодых людей” – К. Эмиса и Дж. Брейна, Дж. Уэйна и Дж. Осборна. Еще до них американец Дж. Д. Сэлинджер в образе героя-подростка Холдена Колфилда обнажил тот же неопределившийся, по-детски смутный мятеж против разных методов подавления личности. Свой голос протеста против проявлений социальной летаргии прозвучал в поэзии и прозе американских „битников”.

Обратившись к следующему субпериоду – концу 1960-х – 1970-м гг., скажем о важной роли деревенской прозы в советской литературе. Публицистика В. Овечкина, Е. Дороша, Г. Троепольского, а затем проза

В. Тендрякова, Ф. Абрамова, В. Шукшина, Б. Можаяева, В. Астафьева, Е. Носова и других „деревенщиков” привлекли необычайно широкий круг читателей. Несомненными достоинствами их лучших книг явилось стремление высветить трагические блоки нашей истории и современной сельской жизни, тяга к философскому осмыслению национальных и социальных корней истории крестьянина, деревни, страны.

Сегодня нередко можно прочесть не только о глубоких национальных корнях творчества „деревенщиков”, но и о национальной исключительности русской деревенской прозы. Адепты новейшей идеологии „отгораживания” от всего чужеземного и „инородцев”, включая и нескольких печально эволюционировавших писателей (В. Белова, В. Распутина и др.), призвали на помощь схематично истолкованную традицию российского почвенничества. В результате стало привычным отрывать русскую деревенскую прозу от сходных явлений в литературах Украины, Прибалтики, Закавказья, не говоря уже об искусстве „прогнившего” Запада.

Между тем при всем национальном своеобразии прозы деревенщиков, затронутые ими проблемы можно воспринимать и как модификацию общемировых вопросов. Интересные аналоги – тематические, проблемные, стилевые – лучшим образцам русской деревенской прозы находим мы в рассказах и повестях украинского прозаика Григора Тютюнника, в цмакутском цикле Гранта Матевосяна, в библейской эпичности неторопливого повествования Григория Кановича.

Серьезные попытки осмысления национальных корней, перспектив развития регионов, выводящих на тот уровень художественного обобщения, когда в книге о ферме или городке прочитываешь судьбы человечества, находим у многих мастеров литературы Запада. Эта традиция в XX веке идет от великого Фолкнера. Известны слова Ш. Андерсона, обращенные к младшему коллеге: „Вы, Фолкнер, деревенский парень. Все, что вы знаете, – это маленький клочок земли там, в Миссисипи, откуда вы вышли. Впрочем, этого достаточно тоже...”¹⁰. В этих словах – признание таланта, позволившего Фолкнеру на локальном материале жизни одного округа смоделировать проблематику общеамериканской и общемировой значимости.

По характеру проблем и по тяготению к тем или иным средствам их художественной реализации (в частности, к мифопоэтике) по-своему близки к Фолкнеру не только Р. Пенн Уоррен и К. Маккалерс, Ш. Э. Гро и молодой У. Стайрон, но и крупнейшие латиноамериканские романисты. Без Йокнапатофы нельзя представить себе, как появился бы на свет целый универсум – Макондо Гарсиа Маркеса, а без того

¹⁰ Цит. по: *Современные проблемы реализма и модернизма*, Москва 1965, с. 260.

и другого – распутинская Матера или Цмакут Г. Матевосяна. Впрочем, в этих случаях можно говорить уже не только о типологических схождениях, но и о плодотворном литературном влиянии – т.е., о генетических связях.

Более пристального внимания заслуживает и определенное родство „городской прозы” в советской литературе второй половины шестидесятых – семидесятых годов (к примеру, повестей Ю. Трифонова) с западным интеллектуальным романом. Под интеллектуальным романом понимается не роман об интеллектуалах, а роман, внутренний мир которого, как правило, замкнут в рамки одного интеллекта; нередко эти два параметра совмещаются, как, например, в романах С. Беллоу. И в этом случае речь может идти лишь о типологических схождениях.

В новейшей историко-культурной эпохе есть явления, порожденные политическими коллизиями, и оставившие след в различных литературах. Так, историки французской культуры непременно выделяют как веку 1968 год¹¹. Сугубо французские, на первый взгляд, эти события возымели всемирный социальный и художественный резонанс: появилось страстное желание критически осмыслить „парижскую весну” и предшествовавшие ей события. Это желание по-разному обозначилось в творчестве художников маститых (Ж.-П. Сартра, Симоны де Бовуар, Р. Мерля) и в прозе молодых Пьера Гольдмана, Патрика Модiano и их литературных сверстников. Заметим, что свой вклад в новое освещение проблем „молодежной вольницы” и нового расклада левых сил внесли и американцы Дж. Джонс (*Веселый месяц май*) и Н. Мейлер (*Армии ночи*), англичанин Пирс Пол Рид (*Дочь профессора*) и не только они.

Литературная реакция Запада на май 1968 г. самобытна, но не уникальна. Вспомним в чем-то аналогичную тенденцию в американской литературе конца 1960-х – первой половины 1970-х гг., которую критика нарекла „литературой национальной самокритики”. Речь идет об обостренной реакции серьезных литераторов на войну во Вьетнаме, а затем – на Уотергейтский скандал. Ряд произведений, вписывающихся в эту тенденцию, представителен: здесь и памфлет Ф. Рота *Новый кризис фокусника*, и роман-памфлет К. Бернстайна и Б. Вудварда *Вся президентская рать*, и исторические романы Гора Видала, и пьеса Дж. Апдайка *Бьюкенен умирает* и т.д. Сходные по направленности акценты можно обнаружить и в западногерманской литературе той поры.

Думая о литературе национальной самокритики на Западе, трудно удержаться от аналогий с новейшим опытом восточноевропейской

¹¹ Для стран Восточной Европы 1968 год – тоже своеобразная веха, отмеченная таким трагическим событием, как вторжение войск стран Варшавского пакта в Чехословакию, раздавившее ростки „социализма с человеческим лицом”.

культуры. Пафос критического рассмотрения русской истории последних семидесяти с лишним лет характерен для „перестроечного” периода в истории литературы. Он охарактеризовался возвращением читателю забытых или запрещенных имен и книг, а также появлением новых произведений, в которых национально-самокритическая тенденция явно доминирует. Проза и драматургия Андрея Платонова, *Реквием* Анны Ахматовой, *Доктор Живаго* Бориса Пастернака, *Жизнь и судьба* Василия Гроссмана заставили читателя и критику пересмотреть представление о классике в русской литературе XX века, кардинально изменили читательские интересы. В процесс духовной перестройки вписались написанные в разное время рассказы В. Шаламова, романы А. Рыбакова, А. Бека, В. Дудинцева, стихи Б. Слуцкого, проза А. Приставкина и Ф. Искандера, Т. Толстой, В. Пьецуха и др. В том же ряду – лучшие мемуарные книги и боевая публицистика, посвященная разным аспектам социального бытия в распадающемся СССР.

Думается, что круг тенденций, иллюстрирующих общность в развитии новейшей русской литературы с искусством Запада, может быть значительно расширен. В краткой статье наивно было бы претендовать на фактологическую полноту, но главная задача, стоящая остро перед русской и западной критикой, должна быть осознана: необходимо распрощаться с инерцией изоляционистского мышления. От постановки в контекст мировой культуры советская литература, взятая к тому же как „целостная совокупность многих национальных литератур”¹², не проиграет, а напротив – выиграет: прояснятся истоки и функции многих художественных явлений, точнее будет выверена школа истинных эстетических ценностей. Для западной литературно-критической мысли и литературной науки более широкое знание восточноевропейских литератур и приобщение фактов их истории к общей картине современной мировой культуры не менее важно, так как сулит постижение нового и методологически продуктивного взгляда на мировой литературный процесс.

¹² Выражение Л. Арутюнова, *Советская литература и мировой литературный процесс*, Москва 1975, с. 190.